

DOI 10.37386/2305-4077-2021-2-138-151

В. В. Мароши¹*Новосибирский государственный педагогический университет***МОТИВЫ «СВОЕГО» И «ЧУЖОГО» В СТРУКТУРЕ
«РОМАНА-ПУНКТИРА» «ХУРРАМАБАД» А. ВОЛОСА²**

В статье рассматривается роль оппозиций «своего» и «чужого» в романе А. Волоса «Хуррамабад» (2000). Из «locus amoenus» Хуррамабад превращается в «опасное место», охваченное насилием и горем. Все рассказы-главы выстроены в хронологическом порядке: с начала 1930-х до 1990-х годов, которые стали временем массового отъезда русских и гражданской войны. Последовательность глав романа обусловлена сначала освоением русскими «чужого» мира, затем катастрофической потерей ими родного города, собственности и, наконец, эмиграцией в недружественную русскую деревню. Расширение отчуждения персонажей дополняется отчуждением биографического автора в последнем очерке «Худжандский пунктир».

Ключевые слова: мотив, структура, роман, Locus amoenus, свой, чужой, отчуждение

V. V. Maroshi*Novosibirsk State Pedagogical University***MOTIFS OF "NATIVE" AND "ANOTHER" IN THE
STRUCTURE OF THE "DOTTED LINE-NOVEL"
"KHURRAMABAD" BY A. VOLOS**

The article deals with the role of the oppositions of «native» and «other» in the novel «Khurramabad» by A. Volos (2000). From «locus amoenus» Khurramabad turns into a dangerous place marked by violence and grief. All narratives of the novel are organized in chronological order: from the early 1930s to the 1990s, which was the time of mass departure of Russians and the civil war. Their sequence is due first to the Russian mastering of «another» («foreign») world, and then catastrophic loss of native city, property, and finally emigration to an unfriendly Russian countryside. The growing alienation of the characters ends with the author's own alienation in the final essay «Khujand Dotted Line».

Keywords: motif, structure, novel, Locus amoenus, native, others, alienation

1990-е – 2000-е гг. в России связаны с заметной актуализацией в русской литературе репрезентации оппозиций «своего» и «чужого» / «другого» на разных уровнях поэтики текста. Это было обусловлено целым рядом причин: резкой сменой социального и экономического уклада, обострением старых или возникновением новых межнациональных, региональных и локальных конфликтов, стремительно усиливающимся разрывом в уровне жизни разных групп населения, интенсивными миграционными процессами внутри страны и за ее пределами.

¹ Валерий Владимирович Мароши, доктор филологических наук, профессор профессор кафедры русской и зарубежной литературы, теории литературы и методики обучения литературе Новосибирского государственного педагогического университета.

² Исследование выполнено при финансовой поддержке РФФИ и РЯИК № 21-512-23003.

Подобная социальная, этническая и культурная фрагментация привела и к появлению в отечественной гуманитаристике целого ряда исследований, в которых разрабатывались различные аспекты этой оппозиции: мифопоэтические, философско-феноменологические, культурологические, социологические, этнические, лингвистические. Для отечественного литературоведения и лингвистики учеными была сформулирована необходимость развития особой междисциплинарной науки – имагологии, которая бы занималась риторикой репрезентации» национальных стереотипов, объективированных в языке и литературе [Ощепков, 2010], [Земсков, 2011], [Поляков, 2015]. Появились и первые практические работы, в которых эта оппозиция рассматривается как категория или дихотомия в классической русской литературе, например, [Данилова, 2011], [Соломина, 2014], в современной этнической прозе [Цимбалова, 2014], геопоэтике [Бронская, Иванова, 2018], в современных отечественных травелогах [Драчева, Кислова, 2017]. Очевидной стала и перспектива такого «противостояния» для анализа конфликтных ситуаций в батальной и алармистской прозе. Мы будем использовать эту весьма объемную в смысловом отношении оппозицию в более узком терминологическом смысле – как значимый для сюжетной событийности и ситуаций произведения мотив, характеризующий взаимоотношения между персонажами, а также их отношение к художественному пространству и предметному миру. Подобные мотивы относятся, по нашему мнению, к антропологическому или характерологическому аспекту поэтики произведения.

В глобальной перспективе распад Советского Союза и сложные отношения между образовавшимися на его бывшей территории фрагментами должны были бы активизировать в отечественном литературоведении использование категории чуждости / инаковости («otherness»), которая крайне значима для зарубежных постколониальных исследований (См. [Ahmad, 1987], [Ashcroft, Griffith., Tiffin, 2004, p.11, p. 96–102], [Ashcroft, Griffith., Tiffin, 2013, p. 188–189], [Hasan Al-Saidi, 2014]. К сожалению, единственным отечественным ученым, последовательно применяющим подобную методологию к анализу интересующего нас «туркестанского текста» русской литературы стала Э.Ф. Шафранская [Шафранская, 2015], [Шафранская, 2019].

Еще в начале 1930-х гг. Д. П. Святополк-Мирский отметил интерес советских литераторов к локусу и культуре Таджикистана, объяснив это особой степенью «ориентальности» самой республики и беспрецедентной для тогдашней Средней Азии жестокостью гражданской войны на ее территории: «...в сугубой экзотичности этого «самого восточного угла» нашей страны [Мирский, с. 171]; «Особый интерес, которые многие наши писатели находят именно в Таджикистане, объясняется исторической судьбой седьмой советской республики <...> **исключительно жестокая борьба**³ и исключительно яркие достижения социалистического строительства, и привлекали писателей к Таджикистану» [Там же, с. 172].

³ Здесь и далее выделено нами. – В.М.

В конце XX в., после окончания кровопролитнейшей гражданской войны в уже независимом государстве, произведения, изображающие ее перипетии, стали одними из самых обсуждаемых в современном отечественном литературном процессе – «роман-пунктир» «Хуррамабад» А. Волоса (2000), «Заххок» А. Медведева (2017). Обновил давнюю традицию таджикских травелогов в связке с «магическим историзмом» П. Крусанов («Железный пар», 2016). Подарком для читателей и литературоведов стала и публикация в 2018 г. незавершенного романа художника П. Зальцмана «Средняя Азия в Средние века (или Средние века в Средней Азии)», писавшегося после поездок в Таджикистан в 1930-х гг.

Роман «Хуррамабад» был впервые издан как «роман-пунктир» в 2000 г. Он вызвал немало литературно-критических откликов, прежде всего в «Независимой газете», издательство которой первым и напечатало роман в виде цельной книги. Он складывался довольно долго, почти двенадцать лет. Первые его фрагменты были опубликованы еще в 1989 г. На протяжении 1990-х отдельные рассказы печатались в отечественных толстых журналах. В итоге сложилась «открытая форма», к которой можно постоянно возвращаться. Например, после присуждения ему премии «Антибукер» (1998) книга пополнилась еще повестью «Сирийские розы», а после Государственной литературной премии (2000) – рассказом «Путевка на целину».

Задача выявления значимости обозначенных в заголовке статьи мотивов облегчается тем, что сам автор романа уже акцентировал их в паратексте романа: опорные его главы-рассказы получили наименования соответственно «Свой» и «Чужой», та же проблематика была отмечена и в названиях и текстах большинства литературно-критических откликов: «Свои и чужие в городе счастья» [Ремизова, 2000], «...об опыте того, как человек везде оказывается и своим и чужим» [Кукулин, 2000]. В полемику по поводу этой важнейшей оппозиции романа включился и авторитетнейший социолог, занимающийся Туркестаном, – С. Абашин [Абашин, 2003], проанализировав сюжетную ситуацию рассказа «Свой» как с точки зрения ее этнографической «реалистичности», так и в контексте проблемы идентичности вообще.

Ту же проблему увидела в прозе большинства российских и русскоязычных авторов, выходцев из Средней Азии, Э. Ф. Шафранская, но уже с «постколониальной» точки зрения: «Если в мировой литературе существует некая постколониальная матрица, характеризующая антиколониальностью, то не так обстоит дело в современной русской литературе. Возможно, потому что и Российская империя, и наследовавший ей Советский Союз были неклассическими колониальными державами <...> Проза названных авторов характеризуется обостренной рефлексией по поводу градации «свой – чужой» в хронотопе «раньше и теперь», то есть до развала империи и после» [Шафранская, 2005, с. 11].

Анализируя роман «Хуррамабад», исследовательница приходит к очевидному выводу о том, что его главной и неразрешимой проблемой становится непреодолимая ксенофобия как «неприятие чужого»: «Строя сюжет таким

образом, выстраивая действие романа по нарастающей (или – географически – сужая его) – от имперских конфликтов до внутриэтнических, автор тем самым приходит к трагическому выводу, что ксенофобия – одна из «экзистенциологом» человечества, сводимая к простой оппозиции: «свой – чужой» [Там же, с. 14].

Жанр «романа в рассказах» не уникален в современной отечественной прозе: достаточно назвать «Грех» З. Прилепина (2007), «Парк Победы» А. Карасева (2019). Но роман А. Волоса был первым в этом ряду, новый жанр в 1990-е, во время начала широкого распространения индивидуально-авторских жанровых обозначений, был воспринят как попытка сотворения эстетического целого на фоне всеобщего распада. К тому же в его состав вошли не только рассказы: он представляет собой скорее цикл из четырнадцати повествований (тринадцати «глав» романа и завершающей главы-эпилога), одно из которых («Сирийские розы») можно уверенно отнести с точки зрения объема и хронотопа к жанру повести, и лишь остальные – к рассказам и новеллам (с характерными для последних фабульными «пуантами»).

Кроме того, в структуру книги входят «Приложения» и «Примечания», выполняющие роль метатекста для представления и комментирования реалий таджикской культуры, языка, истории. «Предисловие к немецкому читателю» в составе «Приложения» сообщает иностранному и, конечно, русским читателям необходимые для понимания романа сведения географического, исторического и этнографического характера. Очерк «Худжандский пунктир», посвященный приезду и окончательному отчуждению уже конкретно-биографического автора («Андрея») от родного Хуррамабада, играет важнейшую роль в эстетическом завершении романа, подтверждая в своем заголовке и авторское определение жанра всего романа в целом («пунктир»).

Недидеетический нарратор в романе выступает особого рода посредником по отношению к «чужому» для русского читателя изображаемому миру и доминирующей в изображаемом мире персональной точке зрения героев каждого из текстов. Можно сказать, что автор отказывается от роли всезнающего повествователя, от «своей» оценки, предоставляя эту роль персонажам.

Само повествование в романе, как и других постколониальных романах, включает в себя использование иного языка, причем в изображение местных реалий природы и быта, особенностей национального этикета. Персонажи романа, как русские, так и, конечно, аборигены, используют в своих репликах «таджикский фарси». Автор выступает в роли переводчика, расшифровывая их в постраничных сносках (в тексте романа 46 таких примечаний языкового характера, названия же реалий и имена прокомментированы в Примечаниях). Рефлексия русских персонажей по поводу таджикского языка, его вкрапления в повествование и диалоги, степень освоения / владения им русскими персонажами становятся лейтмотивами романа. Дialeктные черты речи одного из русских персонажей (южный диалект в его кулябском варианте) становятся причиной его убийства, когда его принимают за «чужого своего», за представителя враждебного таджикского клана.

Внешняя логика последовательности всех повествований – линейно-хронологическая, от начала 1930-х, через 1950-е и 1970-е к 1990-м, времени массового отъезда русских и гражданской войны. Внутренняя же логика их последовательности – драматизация процесса обретения и утраты Родины, «своего», нарастающее к финалу романа отчуждение.

В первой главе романа синхронно развертывается рассказ-воспоминание бабушки о приезде русской женщины, жены пограничника, на terra incognita, «фронтир» афганской границы, в непривычный климат и природу («Да, горы. Справа и слева. С той стороны (**с чужой, с неприятельской, с обманчиво тихой вражеской** стороны) они были точно такими же, как с **этой**, – серые, **безжизненные**... [Волос, 2005, с. 11]⁴) и рецепция «чужого» нарратива внуком бабушки («а он, слыхавший эту **чужую историю** столько раз, что она успела стать **своей**, не смел ее остановить», с. 16). Так «чужое» становится «своим», прошлое – настоящим.

Русские осваивают чужую землю в переносном и буквальном смыслах как целину: «Сюда, на эти криволинейные, взметенные к вечно ясному небу пространства они отправлялись когда-то, на эту желтую звонкую землю, – и упрямо жили на ней, треща тракторами, царапая плугами ее грудь <...>. И, принимая в себя их мертвых, эта желтая земля, **прежде чужая**, мало-помалу становилась **родной**» (с. 20).

Неслучайно во второй главе Вера, жена инженера Гоши (Георгий, «работающий на земле») слушает радиопередачи про «освоение павлодарских земель» (с. 36) и в порыве отчаяния просит «путевку на целину». На фоне нерушимой общности «советских людей», в существование которой верит героиня с говорящим именем, неожиданным кажется ей спор русской женщины и крымской татарки, в котором обе стороны не приемлют позицию «чужого»: «Вечно у вас да все не по-человечески. Флюра повернулась к ней подбочась и спросила, оглядев Клавку с головы до ног: – Что не по-человечески?

– Да какая соль? – выпалила Клавка, тоже упирая руки в боки. – Конину едите, да вот вам и мерещится! Еще да соль какая-то!..

– Уж мы-то свинью, как ты, есть не будем, – согласилась Флюра неожиданно ласково и пояснила: – Чушку-то. ... Сами вы чушки! Вот и правильно говорят, что **не русские**. ... Кто как живет, так то и ест, – вздохнула Флюра. И добавила с усмешкой: – Курица ты нетоптаная!..» (с. 34)

В третьей главе, «Наследство Ивачева», «чужое» означает не только оставленные чужие вещи («... выделять место под **чужое**», с. 52), но и становится символом прошлого и чужой жизни, а в настоящем – отчуждения уехавшего Никиты Ивачева от своих родителей и Хуррамабада: «... пальто возникло на веку какого-то **иного, позапрошлого поколения**, связанного с **нынешним** только пуповиной памяти» (с. 52). «Это были **вещицы чужие, не для этого дома, не для этой жизни**, их держали так осторожно, словно они должны были вот-вот растаять, раствориться, быть слизанными языками **прошлого**, достигавшими еще в ту (теперь уже тоже давнюю) пору пугливого настоящего (с. 53).

⁴ Текст романа цитируется по этому изданию. Далее номер старницы указывается в круглых скобках после цитаты.

В четвертой главе «Кто носится вскачь по джангалам» мотивы «своего» и «чужого» актуализируются в ситуации, когда проявляется «колониальная» брезгливость выросших в городе русских по отношению к чужим местным обычаям: «Нет, конечно, он (Мерген – В. М.) **кишлачный**, поэтому ему, Мергену, все это **понятно и близко**, а Митьке – **чуждо** и неприятно... почему?» (с. 88), «... Он (Митька. – В.М.) и раньше знал, что **здесь, в горах, своя жизнь, свои представления обо всем**; он и раньше знал, что следует стараться принимать эти представления такими, какие они есть, **подстраиваться** под них...» (с. 97).

Все главы романа объединены отчасти наличием нескольких сквозных персонажей (Никита Ивачев, Ямнинов, Ориф, Карим Бухоро), отчасти – локусом миграции уехавших хуррамабадцев в России – Завражьем, но в наибольшей степени – общим мифопоэтическим пространством Хуррамабада, топография которого соответствует реальному Душанбе. Именно соотносительность с ним, а также с библейским метанарративом «изгнания из Эдема» придает роману необходимую цельность. В «Примечаниях» автора загадочный для русского читателя Хуррамабад комментируется как «...топоним, встречающийся в иранских и тюркских сказках. В буквальном переводе значит «город **радости, счастья**; город, полный **зелени** и **веселья**» (с. 479).

В пятой главе романа – рассказе «Сангпуштак» («Черепашка».– В.М.) описание оазиса, «святого места», в котором персонажи и выпускают «**на историческую родину**», в средоточие «своего» пространства привезенную из Москвы черепаху: « – Вот что значит – настоящая родина!» (с. 119). Изображаемый оазис, «святое место» явственно напоминает как пространство античной идиллии в европейской литературе, так и идеальный топоним таджикского фольклора («берег водоема, тень...» [Лахути, 1936, с. 164]): «Из-под земли била серебряная вода. Мощным грифоном она вздымалась над поверхностью скалистого бассейна, серебрилась, играла, рвалась – а потом успокаивалась и **тихо** текла по широкому чистому руслу мимо **деревьев** и людей. Вокруг **чаши**, благодарно охраняя ее, высились огромные, тихо переговаривающиеся, в три или четыре обхвата, чинары; серо-зеленая их кора была **чистой**, как **детская** кожа.

Огромные рыбы, похожие на **золотые слитки**, стояли в прозрачной воде <...> Рыбы не боялись людей. Люди, разоблачась до исподнего, – взрослые с молитвой, сопутствующей омовению, а дети просто для прохлады, – лезли в воду и плавали в ней наравне с рыбами <...> **Рыбы не боялись людей, а люди не боялись змей.** <...> **Все здесь жили вместе**, и никто не грозил другому.

Ивачев обнял Хаёма, а тот приник к нему, и они, не замечая времени, зачарованно сидели на зеленом бугре возле квадратного хауза, из которого бил **волшебный источник**» (с. 117–118); «Смотри! Это твоя родина!» (с. 120). Именно в этой главе взаимная симпатия русских и таджиков, стремление понять язык и культуру друг друга достигают своего апогея (в тексте впервые используется более десятка реплик на таджикском).

Однако все это происходит уже на фоне обсуждения этнических погромов, начавшихся в разных концах Советского Союза. Русский герой рассказа рефлектирует о скрытом напряжении в отношениях с таджиками, необходимости знания и сложности их языка: «Ценно было быть русским, – а быть таджиком было как-то нехорошо... неловко было быть таджиком... пусть даже не в халате, не кишлачным, а городским, кое-чему выучившимся, приобретшим европейский облик, но все же не утратившим свои **зверьковские** качества... «Да что толковать! **Зверек** – птица нелетная!...»

«А ведь они тоже, наверное, нас презирали!» – неожиданно подумал Ивачев, и волна жара вдруг протекла по лицу, заставив его протрезветь. А ведь точно! точно! наверняка презирали – самодовольных **чистых** русских... всегда на хороших должностях... озабоченных своими **русскими делами**... брезгливо избегающих любого, пусть даже мимолетного, касательства **зверьковских** проблем... живущих на тонкой корке своей **городской русской жизни**, под которой клокочет вековечная магма жизни **чужой – зверьковской, непонятной, страшной, грязной, глупой, неинтересной**...» (с. 111–112); «**Чужой язык** прорастал его с таким же трудом, с каким корни деревьев прорастают неплодородную почву» (с. 111).

Город перестает быть «своим», привычным местом обитания в шестой главе «Начальник фонтана», ироничное заглавие которой да и само описание фонтана соотносено с описанием волшебного источника в предшествующей главе. Но ее главный герой, «начальник фонтана», – изгой («...его выгнала жена», с. 121); «Брат у Беляша ...когда-то был» (с. 132), отсидевший срок алкоголик. Уже в разговорах друзей – русского и таджиков – начинается обсуждение нарастающей национальной проблемы: «Из Баку армян привезли <...> Потому что здесь и так уже живет много армян!» (с. 132); «Вот скоро все русские уедут...» (с. 130), «Ты уж давным-давно оттаджичился!» (с. 131); «Я русский!» (с. 131).

Сцена нападения толпы погромщиков на автобус на мосту становится началом катастрофы привычного Хуррамабада. Непосредственно перед ней пьяница Беляш с моста в последний раз созерцает райский город зелени и воды: «Он шурился, разглядывая **свежую зелень**, промытую ночным дождем <...> Справа за рекой **зеленели** всходы на полях; сады горных кишлаков были похожи на горсти **свежей зелени** <...> Впереди к дороге с двух сторон примыкали две огромные **чаши**: **темно-зеленая** – стадиона имени Фрунзе, голубая – Комсомольского озера. Где-то там, в кущах ив возле озера, располагалось заведение Дадахона, куда они держали путь...

– Благодать! – вздохнул он, невольно сглотнув слюну.– А, Камол? Помирать не хочется! (с. 138) (Ср. «...могут превратить **зеленый** Хуррамабад в дымящиеся развалины», с. 190).

Уже через несколько минут жертвы погрома будут поделены на «своих» и «чужих»: «Зачем оделась **по-русски!**... – вопил кто-то неровным, ломким голосом. – Зачем по-русски, сука!! Какая ты таджичка!!!» [с. 142]; «...да, он **настоящий** таджик, не то что сам Беляш... Беляшу еще повезло!.. Камол – таджик, а мужчин-таджиков не трогали» [с. 143].

Начиная с этой главы, Хуррамабад предстает уже не *Locus amoenus*, а предельно опасным для всех его жителей пространством: «Вспомни, что в феврале сказал этот гад Юсупов: русские в Хуррамабаде – заложники!..» (с. 204); «Зима тянулась бесконечно, и постепенно Хуррамабад погружался в такую же вялую апатию, в такое же состояние тлеющей полужизни...» (с. 205); «...три или четыре дня после этого Хуррамабад горел, изнемогая в безликом бешенстве погромов» (с. 254).

Тем не менее даже в таком состоянии город пока еще остается «родным» и «своим» для местных русских: «Шагнула на трап – и в лицо **наконец-то пахнуло родным**: зноем, пылью... В Хуррамабаде уже стояла жара, с юга тянул афганец, желтое небо мутнело...» (с. 208). «Это **здесь**, в Хуррамабаде, я крупный координатор, – он саркастически хмыкнул, – а в России **своих** до зарезу» (с. 280). Монолог старика Васильича из рассказа «Чужой» звучит зловещим предупреждением отъезжающему в чужую ему Россию герою: «Ты приедешь – там **все чужое!** Понимаешь? Ты ведь даже представить себе не можешь, насколько там все чужое! Воздух! Трава! Небо! Люди! Все!.. Пойми! Там у воды другой вкус, у земли другой запах! Ты там сойдешь с ума, вот что я тебе скажу... Я тебе точно говорю! Пойми, **здесь** все кругом – **свое, родное!**.. А там кем будешь?! Оставайся, пока не поздно!» (с. 394).

Итак, с шестой главы начинается нарастание сначала этнического отчуждения, которое приводит к антирусским погромам и отъезду русских в Россию, а затем и клановой, субэтнической войне таджиков между собой, когда «чужими» для обывателя становятся люди, обладающие властью и оружием: «– Чужой! – Муслим насмешливо фыркнул. – Какая разница! А я здесь **свой?** Кого **они** вообще **своим** считают? Слышал про такого человека – Сафои? ... Он помолчал, потом сказал со вздохом:

– **Свой, чужой!**... Тут, знаешь, как в той поговорке... – он пошевелил пальцами. – Ну, помнишь, ты говорил? Как это?

– Бей **своих**, чтоб **чужие** боялись... – сказал Дубровин.

– Вот-вот, – обрадовался Муслим. – Именно **своих**... чтоб чужие... (с. 398–399).

Потеря своего города предполагает и утрату своей собственности, экспроприацию ее бандитами или, в лучшем случае, продажу за бесценок того, во что вложен тяжелый, порой многолетний труд («Дом у реки», «Хороший камень на могилу отца»): «...он ломался на **своем** участке», с. 289); «Отец ее **своими** руками делал!» (с. 209). Так, бандит Ориф из клана всемогущих кулябцев отнимает у русского инженера дом, который тот строил несколько лет: «... и этот человек продаст тебе **свой** дом!» (с. 293); «– Послезавтра утром приеду – чтоб ты **свое** говно из дома уже вытащил! – кричал Ориф, держась за ручку двери. – Все это дерьмо! Шкафчики! Табуреточки! Понял? Чтобы духу твоего не было!» (с. 299).

Особую роль в структуре романа играет седьмая глава «Свой», которая расположена ровно «посередине» в его внешней композиции из 14 глав. Но более существенно то, что в ней изображена попытка смены этничности русским москвичом, героем, изначально чужим всем местным, к тому же наделенным высоким столичным статусом.

Герой рассказа движется против общего течения сюжета: он сознательно хочет понижения своего социального статуса, мигрируя из центра Империи в Хуррамабад: «Он был **чужаком, пришельцем**, он не был **своим**; он не отфильтровывал и десятой доли тех смыслов, что наполняли слова» (с. 161). Он стремится к сказочному счастью этого города: «Как объяснишь **свою** необъяснимую уверенность в том, что под **этим** небом уже прошла однажды **твоя** жизнь, в которой ты говорил **на чужом языке** и был **счастлив?**» (с. 159). Видение героем чужого пространства как своего («знакового») предстает с самого начала как явное влечение к смерти: «Когда он, озираясь, ступил с трапа на **чужой** раскаленный бетон, ему почудилось, что все здесь **странно знакомо** <...> увидел **беспощадный** дисксолнца, показавшийся ему знаком не жизни, а **гибели**» (с. 157).

Чтобы стать «своим», герой бросает Москву и московскую жену, меняет имя, внешность («...подсохшим, груболищым хуррамабадцем годков под сорок, **потемневшим от солнца** и нечистой базарной работы», с. 169), вероисповедание, женится на таджичке, сказочно быстро осваивает язык и даже пытается слиться в едином порыве с возбужденной толпой. Но его все равно воспринимают как чужого: «Ты татарин, что ли?» (с.168); «... не признавая в нем русского, Макушина все норовили записать то узбеком, то казахом, то даже турком-месхетинцем – короче говоря, кем угодно, **только не своим**» (с.169). Попытка слиться с толпой, примкнуть к одному из враждующих кланов заканчивается для него провалом, его снова опознают как чужого: «Пошла вон отсюда, **русская сволочь!** вот что он мне кричал... а?» (с. 189).

Главным препятствием на пути героя к чужой этничности становится его пренебрежение к субэтническому делению хуррамабадцев: «Он смотрел на него и не мог поверить, что в той улыбочивой и беспощадной борьбе между представителями кулябского и ходжентского кланов, которой, главным образом, и жил институт, наступил новый этап: подлецы стали вот так, в открытую, использовать **чужих**, приехавших из Москвы в командировку, для своих целей!» (с.166); «← Ну, ничего, – ухмыльнулся Фарход. – Когда-нибудь поймешь... Это ведь не так просто. Тут **свои заморочки**...» (с.187). Его и убивают, приняв по диалектным чертам произношения за кулябца, представителя одного из враждебных кланов, «своего чужого». Герой умирает в иллюзии, что признан «своим», хотя убийцы видят в нем члена чужого клана: «Ему стало на мгновение обидно, но умирал он все-таки счастливым – его признали **своим**» (с. 189). Как и некоторые хуррамабадцы-таджики он стал жертвой своей гибридной идентичности, незавершенной идентификации, промежуточного положения «чужого среди своих», крайне неустойчивого во времена гражданской войны. Не оставляет герою шансов, помимо схватки кланов, и его постоянное внутреннее усилие «стать своим»: «Время от времени он проборматывал какую-нибудь фразу, крепко пришитую к одной из картинок, и **собственный** голос казался **чужим**» (с. 188).

Бандиты и власть («они»), люди с оружием вне зависимости от их национальной принадлежности, становятся в романе радикально чужими для всех остальных, «озверевшими»: «Ну что ж они делают!» (с. 228). В главе «Хороший камень на могилу отца «им» противопоставлены «мы», нормальные люди, не потерявшие представлений о человечности, объединенные поиском и установкой надгробного камня: «камень встал на **свое** место» (с. 231); «Здорово мы его поставили, а!» (с. 232).

«Они» характеризуются дегуманизирующими зооморфными метафорами («звери»): «Знаю я, как там у них по русскому обычаю... Насмотрелся... **Озверели** – хуже наших...» (с.393); «Ты же скотина, Ориф. **Животное. Ты зверь**. Ты у брата отнимешь, если надо будет! У отца!» (с.295); «...**по-волчьи** помотал головой...» (с.372); «**Это волки**, а не люди» (с. 301). Ср. в России: «быки» (с. 407); «...рожи этого бычья» (с.410).

У «них» тоже есть «свое», но их «свое» означает власть, групповую и клановую принадлежность: «Этих выживают, чтоб **своим хохлам** работу обеспечить... Конечно, дело-то выгодное. **Скоты, скоты!**...» (с. 409); «Я получаю **своих** ребят – ты **своих**» (с. 235); «Или я получу **своих** ребят. Или пеняй на себя» (с. 239); «...верховодит кулябцами, твердой рукой держит шашку, нагличает, сбивает **своих в стаю**, чтобы противостоять **ленинабадцам и памирцам**» (с. 336); «Да затем, что власть – у **них**. А должна быть – у **нас**. У нас, у Куляба. Куляб всегда был сердцем этой страны. Власть – дело Куляба. **Наше** дело, говорю тебе прямо, – **наше с тобой** дело» (с. 350).

У «них» тоже есть «свое», но их «свое» означает власть, мафиозную и клановую принадлежность: «Этих (русских хураммабадцев – В.М.) выживают, чтоб **своим хохлам** работу обеспечить... Конечно, дело-то выгодное» (с. 409); «Я получаю **своих** ребят – ты **своих**» (с. 235); «Или я получу **своих** ребят. Или пеняй на себя» (с. 239); «...верховодит кулябцами, твердой рукой держит шашку, нагличает, сбивает **своих в стаю**, чтобы противостоять **ленинабадцам и памирцам**» (с. 336); «Да затем, что власть – у **них**. А должна быть – у **нас**. У нас, у Куляба. Куляб всегда был сердцем этой страны. Власть – дело Куляба. **Наше** дело, говорю тебе прямо, – **наше с тобой** дело» (с. 350).

В восьмой главе «Ужик» на фоне постоянного ухудшения ситуации в Хуррамабаде в квартире героини появляется неантропоморфный Чужой в виде смертельно опасной рептилии, которую она по неведению принимает за безобидного ужа, «ужика»: «Как ни крути, а все же это было существо **из иного мира, из иной вселенной**, столь же далекое и **чуждое, как марсианин**. Что таилось в этой похожей на костяное изделие лакированной голове?» (с. 197). Персонажи привыкают друг к другу, женщина приручает змею, они становятся из чужих друг другу «своими», «родными»: «...он очень симпатичный... если б ты его увидела, он бы тебе очень понравился. Только он при **чужих** не выползает» (с. 193). «С течением времени они все меньше обращали друг на друга внимания, обоюдно превращаясь из существ **неизвестных**, требующих к себе (в силу своей непредсказуемости) особого попечения и настороженности, **в соседей... даже в родственников**» (с.198). Чуждые человечности люди-звери в других главах не поддаются приручению.

Сюжетную канву предпоследней главы романа, «Чужой», образует ситуация томительного ожидания отъезда и рефлексии героем своего промежуточного статуса: «Он на мгновение вообразил, как состав двинется и пойдет – вагон за вагоном, цистерна за цистерной, платформа за платформой, – пойдет, тяжело погромыхая на стыках, набирая ход, чтобы раствориться в мареве, унося Дубровина навсегда отсюда, где он был теперь **чужим**, в края, где он **тоже был пока чужим** и где ему еще предстояло стать кем-то, – и тут же схватило сердце, словно чья-то ладонь сжала его так грубо, как если бы это не сердце было, а рукоять метлы» (с. 384); «Однажды под грузом страха что-то сломалось в душе, и все, что было **родным и знакомым**, стало **чужим** и таящим опасность. И вот он, еще оставаясь на месте, уже оказался в изгнании, потому что изгнание – это когда **все кругом чужое и опасное. Чужой, чужой**. Он чувствовал себя **безвозвратно чужим**, и поэтому бояться чего-либо было совершенно не стыдно» (с. 380). В момент отъезда герой переживает раздвоение на душу, привыкшую к своему родному месту и «чужое», отчужденное от нее тело, которое и покидает Хуррамабад: «Ему казалось, что его разрывает **пополам** какая-то темная и безжалостная сила – поезд набирал ход, **унося тело**, а **душа** хотела остаться и отчаянно билась в **чужой** и тесной оболочке» (с. 402).

Но и это отторжение оказывается не окончательным. В последней главе романа «Завражье» новое место переселения русских хуррамабадцев сначала напоминает рай: «Натурально: дали землю, и, кто хотел и имел возможность, смотались в далекую Калужскую область, в неведомую деревню Завражье, вернулись с одобрением: мол, место красивое, земляничное» (с. 422); «– Тут места-то – во! – сказал тот из них, что более всех был под хмельком. – Ты, хозяйка, не сомневайся! Тут жить – ого-го! Дорога будет! Вода! Что не жить! Вон, смотри, на буграх-то сколько земляники! Пока-то листики, а летом – ягода!» (с. 206). Однако **Завражье** оборачивается «**вражьим**», потерей сбережений и неприязненным отношением местных деревенских жителей. Беженцы из города, потеряв свою родину, тоже становятся «чужими», но уже в этнически своей русской деревне: «– Жалуются на вас деревенские... – горько сказал лейтенант и покачал головой. – Жалуются! Говорят – **другие** вы люди, **непривычные!** И, мнать, если что плохо лежит, так, говорят, глазом не успеешь моргнуть, а **хуррамабадцы** уже слизнули!» (с. 431); «Он много бы мог рассказать лейтенанту, объясняя, почему на них жалуются деревенские! Конечно – **пришлые!** **Вроде – русские, а живут – как чучмеки!** Все у них **не как у людей!** Да они ж даже водки не жрут! Выпьют маленько – и все, руки кверху! Нет, чтоб **по-нашенски** – до усёру! ... И в домах-то у них все будет **не по-человечески** – да хоть бы даже и горячая вода!» (с. 431–432).

В завершающем книгу очерке горечь отчуждения и утраты своего Хуррамабада испытывает уже автор, акцентируя чуждость в буквально последнем слове текста: «Прежде все было свое, а теперь стало необъяснимо чужое <...> Все уехали. <...> ни одной знакомой рожи. <...> Это все теперь не их, это все теперь чужое...» (с.448–449), «Все выглядело как прежде. Но было уже **совершенно**

чужим» (с. 476). Тексты, созданные писателем, стали как бы словесной паутиной, которая помогает ему справиться с пустотой, образовавшейся на месте утраченного Хуррамабада: «Когда-то тысячи нитей связывали тебя в этом городе с другими людьми, и ты, словно паук в центре паутины, мог висеть в воздухе, надежно поддерживаемый ими. А теперь все уехали, все оборвано, уцепиться не за что...» (с. 448).

Таким образом, отчуждение персонажей и биографического автора, имея в виду его автокомментарий, приобрело в романе «Хуррамабад» законченный, тотальный характер. Однако воссоздавая в воображении этот утраченный мир, автор-творец вновь превращает его в «свой».

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

Абашин, С. Н. Свой среди чужих, чужой среди своих (Размышления этнографа по поводу новеллы А. Волоса «Свой»)/С. Н. Абашин//Этнографическое обозрение.– 2003.– № 2.– С. 3–25.

Бронская, Л. И. Дихотомия «свой/чужой» в современном Кавказском и Уральском текстах / Л. И. Бронская, И. Н. Иванова // Гуманитарные и юридические исследования.– 2018.– № 1.– С. 170–178.

Волос, А. Хуррамабад: [роман-пунктир] / А. Волос.– Москва: Зебра Е, 2005.– 480 с.

Данилова, Н. Ю. Диалог «своего» и «чужого» в художественном мире Н. С. Лескова: на материале произведений 1860–1880-х гг. об иностранцах и инородцах: автореф. дис. ... канд. филол. наук: 10.01.01. / Н. Ю. Данилова.– Санкт-Петербург: 2011.– 30 с.

Драчева, С. О. «Южноамериканский вариант» в современном российском травелогге / С. О. Драчева, Л. С. Кислова // Вестник Тюменского государственного университета. Гуманитарные исследования. Humanitates.– 2017.– Т. 3.– № 2.– С. 71–81.

Земсков, В. Б. Россия «на переломе» / В. Б. Земсков // На переломе. Образ России прошлой и современной в культуре, литературе Европы и Америки (конец XX – начало XXI в.).– Москва: Новый хронограф, 2011.– С. 4–46.

Кукулин, И. Плов и проза в межкультурном контексте / И. Кукулин // Независимая газета (далее – НГ). 2000 г. 6 июля. (Ex libris).– URL: https://www.ng.ru/ng_exlibris/2000-07-06/1_hammurabad.html (дата обращения: 10.02.21).

Лахути, Г. Литература Таджикистана / Г. Лахути // Советский Таджикистан.– Москва; Ленинград: ИзоГИЗ, 1936.– С. 160–170.

Мирский, Д. Таджикистан в советской и зарубежной литературе / Д. Мирский // Советский Таджикистан.– Москва; Ленинград: ИзоГИЗ, 1936.– С. 170–180.

Ощепков, А. Р. Имагология / А. Р. Ощепков // Знание. Понимание. Умение. 2010.– № 1.– С. 251–253.

Поляков, О. Ю. Имагология: учебное пособие / О. Ю. Поляков.– Киров: ВятГУ, 2015.– 184 с.

Ремизова, М. С. Свои и чужие в городе счастья: Вышла книга лауреата премии Антибукер Андрея Волоса / М. Ремизова // НГ. 2000 г. 6 апр. № 13 (136). (Ex libris).– URL: https://www.ng.ru/culture/2000-04-14/7_happytawn.html (дата обращения: 10.02.21).

Соломина, В. В. Смысловая дихотомия «свой – чужой и её смысловая репрезентация (на материале русскоязычных художественных текстов) / В. В. Соломина // *Lingua mobilis*. – 2011. – № 31. – С. 27–37.

Соломина, В. В. Особенности реализации оппозиции «свой –ужой» в различных видах дискурсов / В. В. Соломина // Вестник Ленинградского гос. ун-та им. А. С. Пушкина. – 2014. – № 3. Т. 1. Филология. – С. 176–182.

Цимбалова, Ю. А. Оппозиция «свой–чужой» в цикле рассказов Е. Д. Айпина «Время дождей» / Ю. А. Цимбалова // Проблемы истории, филологии, культуры. – 2014. – 4(46). – С. 273–277.

Шафранская, Э. Ф. Постколониальная проблематика современной русской литературы / Э. Ф. Шафранская // *Respectus Filologus*. – 2015. – № 28 (33). – С. 9–23.

Шафранская, Э. Ф. Колониальная и постколониальная литература: терминология и содержание / Э. Ф. Шафранская // Филология и культура. – 2019. – № 1(55). – С. 203–212.

Ahmad, A. “Jameson’s Rhetoric of Otherness and the ‘National Allegory’ / A. Ahmad // *Social Text*. – 1987. – № 17. – P. 3–26.

Ashcroft, B. The Empire Writes Back: Theory and Practice in Post-Colonial Literatures / B. Ashcroft, G. Griffiths, H. Tiffin. – New York: Routledge, 2004. – 296 p.

Ashcroft, B. (eds.) Key Concepts in Postcolonial Studies / B. Ashcroft, G. Griffiths, H. Tiffin. – London & New York: Routledge, 2013. – 368 p.

Hasan Al-Saidi, A. Post-colonialism Literature the Concept of self and the other in Coetzee’s *Waiting for the Barbarians: An Analytical Approach* / A. Hasan Al-Saidi // *Journal of Language Teaching and Research*. – 2014. January 2014. – Vol. 5. No.1. – P. 95–105.

REFERENCES:

Abashin, S. N. Svoj sredi chuzhizh, chuzhoj sredi svoih (Razmyshleniya etnografa po povodu novelly A. Volosa «Svoj») // S. N. Abashin / *Etnograficheskoe obozrenie*. – 2003. – № 2. – S. 3–25.

Bronskaya, L. I. Dihotomiya «svoj/chuzhoj» v sovremennom Kavkazskom i Ural’skom tekstah / L. I. Bronskaya, I. N. Ivanova // *Gumanitarnye i yuridicheskie issledovaniya*. – 2018. – № 1. – S.170–178.

Cimbalova, Y. A. Opozitsiya «svoj–chuzhoj» v cikle rasskazov E. D. Ajpina «Vremya dozhdej» / Y. A. Cimbalova // *Problemy istorii, filologii, kul’tury*. – 2014. – 4(46). – S. 273–277.

Danilova, N. Y. Dialog «svoego» i «chuzhogo» v hudozhestvennom mire N. S. Leskova: na materiale proizvedenij 1860–1880-h gg. ob inostrancah i inorodcah: avtoref. dis. ... kand. filol. nauk: 10.01.01 / N. Y. Danilova. – Sankt-Peterburg 2011. – 30 s.

Dracheva, S. O. «Yuzhnoamerikanskij variant» v sovremennom rossijskom traveloge / S. O. Dracheva, L. S. Kislova // Vestnik Tyumenskogo gosudarstvennogo universiteta. Gumanitarnye issledovaniya. Humanitates.– 2017.– T. 3.– № 2.– S. 71–81.

Kukulin, I. Plov i proza v mezhhkul'turnom kontekste / I. Kukulin // Nezavisimaya gazeta (dalee – NG).– 2000 g. – 6 iyulya. (Ex libris).– URL: https://www.ng.ru/ng_exlibris/2000-07-06/1_hammurabad.html ((mode of access 10.02.21).

Lahuti, G. Literatura Tadžikistana / G. Lahuti // Sovetskij Tadžikistan.– Moskva; Leningrad: IzoGI3, 1936.– S. 160–170.

Mirskij, D. Tadžikistan v sovetskoj i zarubezhnoj literature / D. Mirskij // Sovetskij Tadžikistan.– Moskva; Leningrad: IzoGI3, 1936.– S. 170–180.

Oshchepkov, A. R. Imagologiya / A. R. Oshchepkov // Znanie. Ponimanie. Umenie. 2010.– № 1.– S. 251–253.

Polyakov, O. Y. Imagologiya: uchebnoe posobie / O. Y. Polyakov.– Kirov: VyatGU, 2015.– 184 s.

Remizova, M. S. Svoi i chuzhie v gorode schast'ya: Vyshla kniga laureata premii Antibuker Andreya Volosa / M. S. Remizova // NG.– 2000 g. 6 apr.– № 13 (136). (Ex libris).– URL: https://www.ng.ru/culture/2000-04-14/7_happytawn.html ((mode of access 10.02.21).

Solomina, V. V. Smyslovaya dihotomiya «svoj – chuzhoj i eyo smyslovaya reprezentaciya (na materiale russkoyazychnyh hudozhestvennyh tekstov) / V. V. Solomina // Lingua mobilis.– 2011.– № 31.– C. 27–37.

Solomina, V. V. Osobennosti realizacii oppozicii «svoj – chuzhoj» v razlichnyh vidah diskursov // Vestnik Leningradskogo gos. un-ta im. A. S. Pushkina.– 2014.– № 3. T. 1. Filologiya.– C. 176–182.

Shafranskaya, E. F. Postkolonial'naya problematika sovremennoj russkoj literatury / E. F. Shafranskaya // Respectus Filologus.– 2015.– № 28 (33).– S. 9–23.

Shafranskaya, E. F. Kolonial'naya i postkolonial'naya literatura: terminologiya i sodержanie / E. F. Shafranskaya // Filologiya i kul'tura.– 2019.– № 1 (55).– S. 203–212.

Volos, A. Hurrabad: [roman-punktir] / A. Volos.– Moskva: Zebra E, 2005.– 480 s.

Zemskov, V. B. Rossiya «na perelome» / V. B. Zemskov // Na perelome. Obraz Rossii proshloj i sovremennoj v kul'ture, literature Evropy i Ameriki (konec XX – nachalo XXI v.).– Moskva: Novyj hronograf, 2011.– S. 4–46.

Ahmad, A. “Jameson’s Rhetoric of Otherness and the ‘National Allegory’ / A. Ahmad // *Social Text*.–1987.– № 17.– P. 3–26.

Ashcroft, B. The Empire Writes Back: Theory and Practice in Post-Colonial Literatures / B. Ashcroft, G. Griffiths, H. Tiffin.– New York: Routledge, 2004.– 296 p.

Ashcroft, B. (eds.) Key Concepts in Postcolonial Studies / B. Ashcroft, G. Griffiths, H. Tiffin.– London & New York: Routledge, 2013.– 368 p.

Hasan Al-Saidi, A. Post-colonialism Literature the Concept of self and the other in Coetzee’s Waiting for the Barbarians: An Analytical Approach / A. Hasan Al-Saidi // Journal of Language Teaching and Research.– 2014. January 2014.–Vol. 5.– No.1.– P. 95–105.